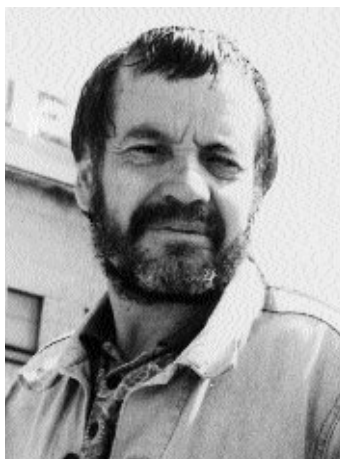


ПРОЗА

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН



МЕДВЕЖЬЯ ЛЮБОВЬ

РАССКАЗ

Над крутым таежным хребтом выстоялась холодная, бледная ночь; инистым ликом сиял сквозь черные кедровые вершины спелый месяц, и сонно помигивали голубоватые звезды. Посреди заболоченной голубичной пади раскорячился сухостойный лиственень, скорбно взметнувший к небу голые сучья; от лиственя вдруг качнулась мрачная тень... Медведь!.. Парашютисты-пожарники азартно притихли, затаили дыхание, а бывалый таежник Медведев прилег у заросшей брусничником, трухлявой сосны, приладил к валежине карабин и, вмяв ложе в линияющую бороду, стал ловить медведя на мушку. Тень снова качнулась к лиственю, приникла... Зловеще сверкнул карабинный ствол... Вот сейчас... сейчас таежную темень и тишь порвет заволошный выстрел...

* * *

Тихая электричка плавно скользила из таежных полустанков, волочилась в хребтовые тягуны, вольно кружила в синем поднебесье, ныряла в тоннели, словно в студеньные могильные склепы; электричка уносила Ивана с Павлом в байкальские кедрачи; и мужики, матерые таеги*, как им чудится, заядлые орешники-шишкобои, довременно и страстно подрагивая от фарто-

БАЙБОРОДИН Анатолий Григорьевич родился в забайкальском селе Сосново-Озёрск. После окончания Иркутского университета работал в областных газетах, преподавал русскую литературу в школах. С начала 90-х годов — преподаватель стилистики и русской этики на филологическом факультете Иркутского госуниверситета. Автор книг “Старый покос” (повесть), “Поздний сын” (повесть), “Боже мой...” (роман), “Яко богиню землю нареки” (фольклорно-этнографические, историко-публицистические и художественные очерки), “Русский месяцеслов” (обычаи, обряды, поверья, приметы русского народа). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске

вых помыслов, поминая былое, сквозь отпахнутые окошки жадно вдыхали воображенный таежный дух, густо настоянный на забродивших запахах муравьиного спирта и древесной смолы, можжевельника и грибной прели, мужичьего пота и махры, — дух таежной насады и улады.

— А помнишь, Паха, медведя... — ухмыляясь и по-кошачьи лукаво жмурясь, напомнил Иван, и Павел, хоть и слыл в деревенском малолетстве варнаком*, по коему бич рыдал денно и ночью, по-девичьи смущался, жарко краснел, и на рыхлых, по-армейски гладко выбритых щеках рдел отроческий румянец.

Одолев смущение, приятель посылал Ивана в гиблое болото, где Макар телят не пас, и мужики наперебой, то с опечаленным вздохом, то с покаянием, а то и сквозь распирающий душу смех поминали былые дни и ночи, смеркшие было в предночном тумане и вдруг всплывшие из сумрака лет, осиянные и грустным и ласковым зоревым светом. Чудом вырвавшись из тупой, изнуряющей житейской колготни, приятели счастливо забыли в каменных пещерах уныло нажитые, добрые лета. Иван не видел Павла... Господи, страшно молвить... лет тридцать, от рассвета и до заката, и годы отлетели, словно листья в северной тайге: торопливо и ярко отзеленели, да тут же и задумчиво осоловели, набухли сыростью, выжелтели на солнышке, пожухли, повеялись на инистую землю. И если бы армейская бродячая судьба не заметнула Павла в Иркутск, где ему, отставному офицеру, уготовано доживать век, то встретились бы... разве что на небесах. Годы не красят: Иван — по юным летам туго сбитый, крепко сшитый, на шестом десятке высох, зарос сивым мохом по самые брови; Павел — в отрочестве и юности тонкий, звонкий, ныне осел, заматерел, плечи, некогда острые, крыльстые, по-бабьи округлились, уныло обмякли, и “трудовая мозоль”, распирая рубаху, угрозило нависала над брючным ремнем.

— А помнишь, Ваня... — Павел едва сдерживал смех, отчего задорно и лукаво зацвели его помолодевшие глаза, — помнишь, голую деваху в тайге увидал, в обморок упал.

— Так уж и упал, — Иван небрежно потрянул плечами.

— Водой отливали, едва отвадились...

— Шей, вдова, широки рукава: было б куда класть небывшие слова.

— А потом скулил, как щенок..

— Да-а ты, паря, наплетешь, на горбу не унесешь. Вспомни про себя да про медведя...

Цветные сновиденья — отроческие дни — потешно и утешно клубились в отрадно захмелевшей памяти, теснили душу синеватой закатной печалью; и приятели запамятовали, что Иван уже не Ваня — Иван Петрович Краснобаев, сочиняющий исторические романы, хлеба ради читающий в университете “Историю Древней Руси”, что дружок его давно уже не Паша, — подполковник Семкин Павел Николаевич, что отроческие вихры, словно степные ковыли, убеленные инеем, поредели в житейских метелях, а прищуренные глаза, уныло глядящие сквозь дни, пустым песком текущие сквозь пальцы, выматривали стылый край земного обиталища, за коим мирские утробные утехи и потехи отольются кровавыми слезами.

Но приятели забыли о косматой и пустоглазой с косой на крыле, забыли свои жизненные позимки, зарились на пестрых, по-сорочьи стрекочущих девчат и, мастеровито потирая ладони, нарочито вздыхали: эх, где мои семнадцать лет, куда они девались, я пошел на базар, они потерялись. Мимо гороху да мимо девки ходом не пройдешь, невольню ущипнешь либо подмигнешь: исподтишка выпив, весело захмелев и осмелев, мужички начали было заигрывать с двумя соседними девами, заманчиво полуодетыми, с боевой туземной раскраской губ и ресниц, синими наколками на голых плечах. Девы словно воды в рот набрали, но вдруг сидящая напротив Ивана ласково улыбнулась и, глядя прямо в глаза, залепетала:

— ...Приедешь ко мне?

* Таеги — таежники.

* Варнак — здесь, в смысле, озорник.

— Куда? — радостно встрепенулся Иван, на что птаха, презрительно оглядев мужичонку, заросшего сивым мохом по самые глаза, повертела пальцем у виска: мол, дурак, дядя, и, отвернувшись, заворковала дальше, а тот смекнул древним избяным умишком, что туземная дева, впахнув наушничек прямо в отяжеленное серьгой ухо, судачит с хахалем по затаенному в одежке телефончику. “Ишь чего измыслили, бесы...” — ворчливо подивился Иван и тоже отвернулся... на свою беду, — мимо проплыла павой даже не девица, а белокурая кобылица, долгоногая, в распашонке, отпахнутой выше пуна, в джинсах, до скрипа затянувших могучий круп. Девица скользнула по мужикам невидящим поволочным взглядом, и Павел завистливо, с утробным стоном воскликнул:

— Кто-то же ее, Ваня...

— Тише ты, жеребец нелеганный! — осадил Иван приятеля.

— Кто-то же ее, Ваня... любит! — выдохнул Павел.

Дева услышала, обернулась и, снисходительно усмехнувшись, кивнула белесой гривой. Следом за ней в тамбур — ясно, перекурить — процокола иноходью чернявая сухопарая подружка, и мужички, томимые бесом, охмелевшие, осмелевшие, кинулись следом. Нет-нет да и просматривая в вагонную глубь — не грядут ли стражи порядка, дымили в тамбуре, словно озорные и беспечные юнцы, сквозь сигаретный чад игриво и громко болтали вроде и меж собой, а вроде и для девиц, откровенно зарясь на их юную статью. Сухоньякая, чернявая дева раздраженно покосилась на старичье и отвернулась к пыльному окошку, по коему, чудилось, елозили кедровые лапы, провисшие под тяжестью налитых смолёвых шишек. Другая — синеокая, белокурая бестия — по мужичьи матёро курила, насмешливо оглядывая соседей, чучел огородных.

Павел... с разбегу на телегу, с маху быка, вернее, корову, за рога... уткнувшись замасляневшими и осололевшими глазами прямо в щедрую бабью пазуху, протянул белокурой манерно изогнутую ладонь:

— Паша...

— Паша?! — белокурая удивленно и насмешливо глянула с высоты гвардейского роста на мелковатого, но грузного мужичонку, словно высматривала говорящую букашку. — Ну, какой же вы Паша, — ерничая, по-бабьи сердобольно вздохнула, погладила его по лысеющему темени. — Вы Павел... как вас по батюшке?

— Батькович...

Ежли бы Павел явился пред ее очи, полыхающие синеватым полымем, не в мешковатой и линиялой тасажной робе, а в наутюженном мундире да форменной фураге с высоко задранной тульей, отчего приземистый подполковник гляделся рослым, то белокурая бестия не отважилась бы так униЗИтельно гладить его по лысеющему темени. А ежли бы Павел еще тряхнул мощной, то и вовсе по-иному бы, пташечка, запела. Где побрякунчики, там поплясунчики.

— Однахо, твоя ши-ибко умна, моя твоя не понимай — толмач уты, — на бурятский лад плел Павел и, как бывалый пехотный офицер, ринулся в контратаку. — А как, девчата, насчет картошки дров поджарить? У нас и коньячок пять звездочек...

— И черная икра?

— Красная, моя бравая...

Тут и чернявая насмешливо оглядела прыткого мужичишку и дала совет:

— Дядя, приедешь домой, посмотри на себя в зеркало.

Белокурая поперхнулась дымом, и, откашлявшись, откровенно глядя на мужичков мокрыми от потехи и дыма глазами, так искусительно смеялась, рукой прижимая кольшистый живот, что и приятели, два трухлявых пня, тоже невольно хохотнули.

— Над собой, братан, смеемся, — спохватился Павел.

Чернявая, метнув к порогу высмоленную сигарету, смачно облизнула сиренево крашенные губы и пошла из тамбура, раздраженно цокая козыми копытами, за ней, словно кинодива, крутя перезрелыми боками, уплыла и белокурая. Следом, несолоно хлебавши, побитыми псами вернулись на свои лавки и приятели. Иван облегченно вздохнул:

— Запрягай, Паша, дровни, ищи себе ровню, — рядом с девами, особенно подле белокурой, рослой и ухоженной, Иван столь противным себе почувдался, дворяга дворянгой, что заискивающе вертит хвостом, молью побитая, вечно небритая, жизнью истрепанная, пьянством замотанная. — А потом, Паша, ты как-то убого клеишь: как насчет картошки дров поджарить, — передразнил Иван приятеля. — Еще бы спросил: а не подскажете ли, девушки, где здесь уборна... А ты ведь, Паша, офицер... А представляешь, русские офицеры: там и манеры, и литературу читали, и в живописи толк понимали и на роялях играли...

Павел сумрачно оглядел приятеля, усмехнулся:

— Сравнил... То дворяне с жиру бесились, их с пеленок манерам учили, а я смалу по деревне ходил, кусошничал. Ты же знаешь, нас — семь ртов, мал мала меньше, мать — техничка в школе, отец — с фронта контуженный, да еще и зашибала. Подохнет, вожжи в руки, и давай нас манерам учить. А потом казармы, и гоняли по стране, как сивую кобылу. А что дворяне?! Смутьяне... Бардак устроили в России... Хотя за что боролись, на то и напоролись... Кичился по-французски дворянин, пока не дал ему по шее крестьянин...

— Ладно, Паша, успокойся. Обломилась мы с девами...

— Ничо-о, карась сорвется — щука навернется.

— Какой карась, какая щука?! Рыбак... Было, Паша, времечко, ела ку-ма семечко, а теперь и толкут, да нам не дают... Позорники мы с тобой, Паша, они нам в дети годятся, а мы забегали, два сивых кобелишки. До седых волос дожили, ума не нажили. — Иван с горькой усмешкой вспомнил, что третьего дня в храме Святой Троицы исповедался, покаялся в бесовской похоти, покаянно причастился, да вот беда, ненадолго хватило покаянного покоя: лишь опустил с паперти, побожился на кресты и купола, тут же и узрел красу — русую косу, и все покаяние кобыле под хвост. — Нам бы не девушек сманивать, грехи замаливать.

— Замоли-ишь, братан, не переживай. Скоро гроб за задом будет волочиться, вот тогда, Ваня, молись, замолись. А пока успевай, потом... бли-зенько локоток, да шиш укусишь. Разве что позариться... Что грехи?! Без стыда рожки не износишь. И от грехов не спасешься, ежели эти шалавы день-дешнейской перед глазами мельтешат полуголые... хуже чем голые. Ведьмы... хвостами крутят, воду мутят. Хоть по городу не ходи... Ко мне брат из деревни приехал, дня три гостил. День по городу шлялся, а вечером мне смехом: “Больше в город не пойду — шея ноет”. — “А чего ноет-то?” — “Чего, чего!.. головой вертел, на девок глазел...” — “А ты не глазей...” — “Как не глазеть, братка, ежели глаза во лбу. Выбить разве...”

— Конечно, выбить... — усмехнулся Иван и, поразмыслив, решил выхвалиться, на церковно-славянский лад пересказав стих из Евангелия от Матфея. — Слышал, тако речено бысть древним: не прелюбы сотвориши. Аз же глаголю вам, тако всяк, иже воззрит на жену, вожделети ея, уже любо-действова с нею в сердце своем. Аще же око твое десное соблажняет тя, изы-ми его, и отверзи от себе: лучше бо ти есть, да погибнет един из уд твоих, а не все тело твое ввержено будет в геену огненную.

— Чаво-о? — насмешливо протянул Павел, клонясь к многоученному приятно, прилаживая ладонь к уху. — Чаво ты бормочешь?

— Чаво, чаво... Поясняю для темных... Ежли, Паша, глазеешь на деву с вожделением, уже прелюбодействуешь в сердце своем. Понял...

— Не-а, ни хрена, братан, не понял.

— А ежли, Паша, глаз соблажняет, вырви и выброси — душу спасешь.

Павел, едва сдерживая смех, оглядел приятеля с ног до головы, словно дикобраза:

— Я те чо скажу, прохвессор... У нас в деревне аналогичный случай был: корова шла через дорогу, мыкнула, и рога отпали...

— И что дальше?

— А ничего, рога отпали, и все... Шибко ты, Ваня, грамотный, густо кадишь — всех святых закадишь... Значит, глаза вырвать?

— Вырви, Паша, — плел Иван смеха ради, — а можно и оскопиться. Набожные скопцы как говаривали: себя скоплю, себе рай куплю... Ладно,

Паша, у кобеля шея заныла, а сколь смертоубийства из-за бабья... Истории войн считаешь, сплошь и рядом...

— Историю войн я, братка, изучал. В старину бывало...

— В деревне же говорят: бабы умы разоряют дома...

Ивану вдруг вспомнилось давнее... Помнится, с утра слово за слово полаялся с женой: лет десять от супружества голая видимость, лет пять жена живет наособицу в пенсионерской светелке, но ко всякой захудалой юбке ревнует люто. Опять навоображала, опять разлаялись в пух и прах, опять вроде зад об зад, и кто дальше улетит. Слава Богу, дочери своими семьями живут, не видят бесплатное кино, как старичье бесится. И вот чаевал в утренней кухне и, чтобы утихомирить гнев и обиду, врубил телевизор, налетел на томного паренька с косой и серьгой в ухе. “Завтра христиане отмечают Рождество Иоанна Крестителя, — молвил луканька с игривым вздохом. — Святой Иоанн крестил и самого Иисуса Христа. Иоанн Креститель прилюдно обличал царя Ирода за то, что тот жил в блуде с женой своего брата Иродиадой. Обличителя бросили в темницу. И вскоре царь Ирод на блюде преподнес Иродиаде голову Иоанна Крестителя в благодарность за великолепный танец ее дочери... Мы поздравляем христиан с праздником Рождества Иоанна Предтечи, и пусть для них прозвучит красивая песня”. Едва томный луканька домолвил, как в телевизор влетела на ведьминой метле полуголая негритянка и с бесовской неистовостью, с обезьяньей похотливостью закрутила вислым задом и загорланила во всю луженую черную глотку: “Варвара жарит ку-у-ур-р-р!..”

— Эта бестия мужичью орду с ума сведет, — усмехнулся Иван, помянув диву, раздразившую мужиков. — Голым пупом уманит в скверну и бездну...

И вдруг Иван вспомнил, что о похожей зазнобе в студенчестве томился и сох, а та плевала на деревню битую с высокой колокольни, возле нее такие орлы да соколы кружили, не чета Ивану, лешаку таежному.

— Могучая дева... — завидливо вздохнул он.

— Толстая, — Павел сморщился, будто хватанул кислой брусницы.

— Во-во, Паша, мужики так и говорят про баб, когда — поцелуй пробой и вали домой... Чтоб не обидно было и блажь прошла. Не толстая, Паша, а дородная.

— А лет через пять так разволочет, что в ворота не пролезет.

— А может, и не разволочет... У русских испокон веку дородные да широкие, как лодья, за красивых почитались. Как хохлы говорят: годна и кохать, и рожать, и пахать... Помнишь, в соседях у нас Маруся жила — толстая, как бочка, а мать моя: дескать, Маруся — толстая, красивая. А худых жалела: хворые, бедовые.

— Оно, конечно, лишь собаки бросаются на кости. Хотя кости нынче в моде...

— Европа навязала. Там, Паша, девки выродились...

— Видел, доска и два соска, — сморщился Павел.

— Да и в России черти бардак устроили, вот девки и разделись.

Павел согласно покивал головой:

— А белокурая-то телка, может, и красивая, но гулящая-а-а, по глазам видать.

— Молодая, Паша. Поживет, судьбу наживет, слетит шелуха, и пузо прикроет. Мужика бы ей доброго, — с пожилой завистью помянул Иван обильную, что нива житная, нагулянную девью плоть и подумал с обреченным вздохом: “Усердного бы ей пахаря, ежегод бы лелейно удобрял ниву, пахал, заседал, и матерая пошла бы родова от могучей бабени... А так... выбитой до камня, расхожей дорогой и проживет, а на проезжем взвозу и трава не растет. Но, опять же, сколь кобылке не прыгать, а быть в хомуте, суженый и на печи отыщет, и, может, дай-то Бог, войдет в разум, ребятишек наплодит и заживет по-божески, по-русски, в добре и славе”.

— А круто девахи отшили нас, братан.

— Тебя, Паша... Тебе же чернявая дала совет: придешь домой, дядя, посмотри на себя в зеркало...

Электричка провалилась в тоннель, словно в преисподнюю, и тревожно замер грешный народец во тьме кромешной. Потом в вагоне затеплились тусклые фонари, и Павел взгляделся в стекло, как в зеркало, поворачиваясь то в анфас, то в профиль, досадливо кашлянул, потом ухмыльнулся:

— А что, братан, я еще ничо-о...

— Куда с добром, — кивнул Иван. — Ежли к теплой печке прислонить, еще ой-ё-ё...

— Не знаю, как ты, Ваня, а меня к теплой печке прислонять не надо, не... Да что я, вот у меня родич... так, седьмая вода на киселе... старику уж под восемьдесят, пора гроб чесать, а все нейметя. На рыбалке сидим возле костра... выжили, конечно... родич и говорит: “Я, — говорит, — Паша, добрейшая душа, последнюю рубаху сыму, не пожалею, одна у меня беда — много баб перелюбил”. — “Много, — спрашиваю, — это сколь?..” — “Сто...” — “Да-а-а, — удивился я и спрашиваю: — Но теперь-то успокоился, поди?” — “В том и беда, Паша, что не успокоился... Я, говорит, после армии два лета в деревне кантовался. И вот на сенокосе, бывало: откосимся, в деревню приедем, все после ужина на боковую, а я на велосипед, и за ночь шесть-семь дюрок объезжал. А на рассвете прикорнешь на часок, и опять на покос. Вот здоровьице было... Теперь уже не то, годы свое берут — восьмой десяток пошел, но две-три бы еще ублажил...”

— Так и говорит?

— Вот-те крест, Ваня.

— Ну и ты будешь говорить... под семьдесят. Свистит, косой... Он чем промышлял-то?

— А картины писал, художник.

— Да-а, гореть старику синим полымем. Хотя и нам с тобой, Паша, черти такую баньку наладят, кости затрещат... Говорят, богохульников за язык подвешают, а нас...

— Ладно, Ваня, не каркай. Давай-ка лучше выпьем за тех, кто в море, а на суше сами себе нальют.

Мужики хлебнули из огненной криницы, степенно закусили, и снова отороческие воспоминания, заслонив белокурую бестию, закружили в миражных видениях...

* * *

Вот народилось, ожило родное село Сосново-Озерск, прозываемое Сосновкой, где тридцать лет назад перед уличными дружками снежно белела последняя школьная зима, и летом по деревенской приваде и нужде зашибали они копейку, чтобы к сентябрю справить обнови, — приятели вошли в тревожные лета: жарко краснели, тупели, немели, оставшись наедине со школьными подружками; подолгу чесали мокрыми расческами непокорные вихры, вздымая их дыбом; потом, набивая утюги жаркими углями, так яро гладили потайно зачиненные, но вольно расклеванные брюки, что по намыленным, бритвенно острым стрелкам боязно было пальцем провести — как бы не порезаться; парнишки торчали в сельпо, зарясь на форсистые, с искрой пиджаки и брюки; в сосновском кинотеатре “Радуга” — бывшем бурятском дацане — смотрели вечерние фильмы про любовь, с завистью глазели на тамошних городских стилиг, а потом на их манер, воображая себя шпионами, вздымали воротники телогреек, пропахших назьмом и рыбьей слизью. А коль в родительских карманах ветер гулял, то и пришлось паренькам лето вкалывать, как проклятым, чтобы по осени купить стильные штаны, искристые пиджаки, а может, и остроносые полуботинки. Дружки потели на лесопосадках, кормили молодой кровушкой паутов и комаров; стригли пропахших вонючим креолином, истощно блеющих совхозных овец; мерзли и мокли на рыбалке, за жалкие копейки сдавая окуней в сельпо; для казенной бани пилили и кололи дрова в лесу; глотали пыль, торча с вилами по бокам бункера на допотопном хлебоуборочном комбайне “Сталинец”, и много еще чего робили, получая медные гроши. Ладно бы закалымили в даль-

ней тайге, где подсобляли парашютистам-пожарникам — тушили горящий хребет, но не судьба.

Помнится, колыхалась знойная тишь, горел чувачий багульник, можжевельник, тлели бурые мшаники и сизые лишайники, которые погасил лишь затяжной ливень. Слава Богу, не дул верховик, и пламя, озверевши, не метнулось к вершинам сосен и лиственей, и тайгу не охватил свирепый верховой пожар. Таборились парашютисты-пожарники на солнцепечном взлыске у изножья соснового хребта, а чуть ниже балаганов отпахивалась широкая приболоченная падь, поросшая высоким голубичником, а ближе к ручью — густым смородишником. Если дома у Краснобаевых и Семкиных со стола не сходили обрыдшие соленые, вареные окуни да чебаки, то здесь, в тайге, кормили на убой, к тому же в маршруты ежедневно совали в заплечные вещмешки по банке тушенки и сгущенки. А посему, несмотря на тяжкий и потный труд, завалив на хребтины резиновые котомы с водой, пожарники бродили по линии огня и заливали тлеющий мшаник и лишайник, — несмотря на изнуряющую духоту, настоянную на пьянящих запахах муравьиного спирта и сосновой смолы, несмотря на паутов и комаров, что вволю попили дармовой кровушки, пареньки наели такие жаркие ряхи, что можно сырые портянки сушить. В прохладные лунные ночи от эдакой обильной кормежки лезла в беспутые головенки греховная блажь. Да разве ж в молодые лета ведаешь, что грехи любезны, но доводят до бездны, коль и в старости седина в бороду, бес в ребро. Тятки да мамки смалу к Боженьке не привадили, грехом не запугали, а в зрелые лета попробуй справиться с бесом, что в тебе сидит и что хочет, то и воротит.

На тоску и сухоту паренькам, созревшим бычкам, среди парашютистов-пожарников водилась зрелая, ладная деваха — звали ее Татьяной, — в которую недоросли втрескались по самые лопушистые уши. Не жизнь пошла — томительная, сладостная маета, и дева, учуяв, что пареньки сохнут на корню и скоро будем петь и звенеть, как сухостойные лиственни, стала дразнить: выползет из балаганчика, крытого белым парашютом, и раскачисто похаживает, боками поваживает, игриво и омутно косясь зеленоватыми русальными очами. Приметили ребячьи страдания залохматевшие, забородатевшие по самые глаза, задубелые парни-парашютисты и, отманивая скуку, потешались на разные лады, прозывая пареньков женихами и запоздало выясняя, крепок ли табачок в залатанных портах, можно ли нюхнуть и чихнуть. Ванюшка от веселых издевок жарко краснел и готов был если не сквозь землю провалиться либо утопиться, то бежать в село, а Пашка, который за матюжкой сроду в карман не лазил, посылал насмешников к едрене-фене, чем пуще задорил скачущих парней. До слез бы довели Ванюшку, смиренного телка, а Пашку до драки, если бы парашютистов не усмирял матом бригадир Медведев, потаежному неговорливый, чернобородый, приземистый мужик, позаочь величаемый Бугром и Медведем.

Но если Пашка лишь в тайге увидел диву-красу долгую косу, то Ванюшка хлебнул Татьянинного лиха внешней порой... Отец с матерью и малой сестрой уючевали на летний гурт пасти совхозных бычков и телок, а в рубленый тепляк пустили на постой парашютистов-пожарников, среди которых потом и очутились деревенские дружки. Парни спали в тепляке, а Татьяну подсадили к Ванюшке в пустую избу, и, помнится, ясный месяц заливал горницу холодным светом, и паренек, затаившись под одеялом, исходя дрожью, видел среди разметанных волос ее блаженное лицо, белую руку, сонно брошенную поверх одеяла. Томимый еще неведомым, но властным зовом, тихо, чтобы не скрипнула сетка, поднялся и напуганно замер, глядя то на спящую деву, то на Спаса, взирающего с божницы суровыми очами. Не ведомо, сколько бы паренек томился на холодных половицах, дрожа от похоти и страха, но вдруг Татьяна открыла глаза, словно не спала, и ласково, по-матерински велела:

— Иди, Ваня, спи...

Бог весть, как и забылся несчастный Ваня в ту маетную ночь, а утром, пробегаая по ограде мимо него, сгорающего от стыда, Татьяна вдруг остановилась, глянула с улыбкой и, как малое чадо, погладила по бедовой головушке, стильно стриженной “под ежика”.

Среди матерых, загрубелых пожарников, что возле костра травили похабные байки, обитал наособицу по-бабы пухлый, холеный парень, шальными ветрами занесенный в Забайкалье из неведомой Москвы и даже в буреломной тайге не растерявший столичного лоска. Москвич — его так и прозвали, — в отличие от заросших звероватой шерстью, бывалых таёг, нет-нет да и сбрасывал вечерами щетину. Приладит зеркальце к сосне, и, подпирая языком густо намыленные щеки, скребет обличку серебристой бритвой и под стать щедрым телесам гудит обильным голосищем:

*Сердце красавицы склонно к измене
И к перемене, как ветер мая...*

Да так браво поет, как по радио. Напеваает, мажется одеколоном, за версту вонь, зверье разбегаются, птицы разлетаются; потом охлопает щеки до дельего румянца, и, вырядившись в форсистую клетчатую рубаху, бродит по табору, словно по старому московскому Арбату. Встречая деву-парашютистку, и вовсе распускает хвост веером — глухарь на току: чуть насмешливо, но чинно раскланивается, томно закатывает глаза и, вознеся руки, вопит на всю тайгу:

Кто может сравниться с Матильдой моей!..

Так банным листом и прилипло к деве прозвище — Матильда... Парнишки хлыща московского на дух не переносили — соперник проклятый, и гадали: какую бы пакость ему утворить. Случай подвернулся: ночью Пашка по малой требе выполз из балагана, усмотрел, что Москвич наострил лыжи к Татьяниной палатке, парашютной светелке, и на весь таежный распадок забазлал соромную частушку: “Я с Матаней спал на бане, журавли летели, мне Матаня подмигнула, башмаки слетели!..” Ночной кот глянул на соромщика злобно побелевшими глазами, пригрозил кулаком, да так, не отведав сладкого, и убрался в свой чум. Позже, как подслушали мы, ухахь столичный скрал деву в густом черемушнике, и Бог весть, что бы вышло, да на девий крик вывернул Медведев, и потом Москвич, угрюмо отмахиваясь от пересмешников, неделю посвечивал сиреновой фарой, густо окрасившей узкий глаз.

* * *

Однажды вечерком забрались приятели в смородишник возле сладко и дремотно бурчащего ручья и не успели вдоволь и ввласть полакомиться спелой ягодой, как услышали: плывет с табора переливистый Татьянин голосок. Поет деваха, да что поет:

*Пароход белый-беленький,
Дым над красной трубой,
Мы по палубе бегали,
Целовались с тобой...*

Забродившим хмелем, банным угаром закружила шальные головы дурная блажь: вот бы с эдакой девой на палубе... А голосок всё ближе и ближе, и уже рядом затрещали сучки, и приятели затаились в кустах, едва сдерживая неведомую дрожь. Татьяна, продираясь сквозь смородишник, надыбала широкую застойную бочажину, кинула на кочку полотенце, и не успели приятели и глазом моргнуть, как она стянула с себя пропотевшую байковую рубаху, ловко вызмеилась из брезентовых штанов и вскоре явилась во всей обильной девьей наготе. Случилось, как в молодом горячечном сне, как в сказке, где лебедь сбрасывает птичье оперение и оборачивается девицей-красой долгой косой. И пока дева, разметав по плечам длинные каштановые волосы, оплескивала шею и грудь, пареньки обморочно следили за ней, боясь шелохнуться, спугнуть наваждение, хотя и трясло как в ознобе.

Не ведая, какая блажь томила Пашку, уже отведавшего и сладкого, и мягкого, Ванюшка, выросший в многочадливой семье — отец и матушка восьмерых чадушек народили, — несмотря на отроческие лета, воображал деву своей волоокой, русокозой, дородной женой, с которой принял Божий венец в светлой церквушке, свежесрубленной, с янтарными подтеками смолы и куделями бурого мха в пазах, притененной рослым листовиком и свечовым березняком, озирающей село с высокого угора. Вот молодые уже и пятистенную избу срубили, и на сеновале крепких ребятишек азартно наплодили, и вот уже ни свет ни заря, лишь окошки рассинеются, покинув угретье сенные перины, помолясь на отсуленные родичами, древлеотеческие образы, запрягают коня в телегу-двуколку и едут на покос. Пока не пригрело, дружно валят росную траву, а как взойшло пекущее солнце, богоданная в березовой тени, среди нежно звенящих цветов-колокольчиков, кормит малого, отпахнув ворот белой сорочки на молочной груди. А Ванюшка... нет, Иван — в холщовом рубище навывуск, в широких шароварах и сырмятных чирках — певуче и звонко отбивает литовку, примостив ее на чутунную бабку, и, глядя на женку и малое чадо, молится в душе, молится бессловесно: Господи, милостивый, и за что мне, грешному, эдакое счастье...

* * *

В тот злокозненный вечер пожарный отряд до поздних звезд пировал подле веселого костра — у Татьяны случились именины, и Медведев по случаю именин плеснул паренькам в алюминиевые кружки жгучего спирта. Песельный Москвич угодливо плел здравицы: “Мы свет-Татьяну за белы руки брали, за столы дубовы сажали, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медвяные, и желали князя молодого, удалого, у него в плечах сажень косая, походка лихая, мощна тугая...” Пашка исподтиха передразнивал Москвича, томно закатывая глаза, заламывая руки. Изработанные, забывшие, когда в последний раз выпивали, парашютисты-пожарники, лишь губы помазав да горло смочив, махом опьянели, загомонили, потом загорланили так, что бороды колыхались от ветродуйного дыхания и ора:

*Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине.
Кругом тайга, одна тайга,
И мы посередине.
Олений след, медвежий след
Вдоль берега петляет...*

Потом захмелевший Пашка, у которого на диво всей деревне водилась гитара, насадно рвал струны и протяжно ныл в играющих отсветах огня, сжирая лешачьими зенками раскрасневшуюся от спирта и костра именинницу:

*В каждой строчке только точки,
После буквы “л”.
Ты поймешь, конечно, всё,
Что я сказать хотел...
Сказать хотел, но не сумел...*

Ванюшке казалось, что он угодил на изюбриный гон или косачинный ток, и Татьяна, чудилось, поваживала на Пашку хмельными и зеленоватыми русальными очами, отчего Ванюшка смекнул, что надо ему смириться, отступить: “Куда мне до Пашки с его гитарой сладкострунной?! Даже Москвич смирился, а куда уж мне, пеньку корявому. Батя же по пьянке жалел: тебе, Ваньча, как бодливой корове, Бог рогов не дал, а у меня рог упал; ну да, ладно, хошь в юбках не заблудишь, а то иной блудня грехов наскребет на свой хребет, потом мается, мается...”

А Пашка уже запел морскую, и не случайно: хотя село Сосновка раскинулось не у моря синего, а подле лягушачьего озера, в сухие лета зарастающего травой, — боязно нырять, и мелеющего — курица вброд перебредет, здешняя ребятня, на утлых лодчонках изъездившая озеро вдоль и поперек, воображала из себя отважных моряков. Вот и Пашка, сосновский мореман, лихо отсвистев зачин, потянул:

*...Море встает за волной волна,
А за спиной спина...
Здесь у самой кромки бортов,
Друга прикроет друг...*

Пашка ободряюще подмигнул приятелю, и душа его радостно встрепенулась встречей — друг, за коего и жизнь отдать в радость — не жалко. А тот, чуя страдания Ванюшки, клятвенно заверил:

*...Ну а случится, что он влюблен,
А я на его пути,
Уйду с дороги, таков закон,
Третий должен уйти...*

Сник Ванюшка: не приятелю, ему надо отчаливать, он — третий, и сквозь отроческие слезы, страстное томление попрощался с девой, выплетая горестный стишок: “Любимая моя, навек прощай, и злом любовь не поминай...”

Застолье потекло по обычному хмельному руслу: парашютисты-пожарники, забыв про именинницу, наперебой вспоминали былые походы и старых товарищей — иные из них загнули, спасая тайгу от пожара, иных, беспробудно загулявших, списали, иные ушли на покой, вяжут браконьерские сети, ковыряются в морковных грядках. Пашка, отложив гитару, присел на валежину подле именинницы, затеял веселый разговор, и дева нет-нет да и, удивленно косясь на молодого, да раннего, залиvisto смеялась. Пашка незаметно приобнял деву, та, зябко передернувшись, стряхнула шалую руку, но Пашка не унимался.

Чуть поодаль от костра на матером пне восседал бригадир Медведев, снисходительно поглядывал на бойкого деревенского песельника, потом со вздохом поднялся и, подойдя к Пашке, что-то коротко и приглушенно сказал, отчего тот, поджав брыластые губы, зло заузив рысьи глаза, отодвинулся от греха подалше. А Медведев поднял гитару из травы и, присев на свой красно-смолявый пенек, покрутил колки, подтянул струны, и в прохладную, белесую ночь потекло светлое и покаянное страдание:

*Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал...*

Косясь на Татьяну, Ванюшка видел, как дева пожирала Медведева бездонно отпахнутыми, зелено горящими глазами, где играли, томно обмирали всполохи костра; и даже парнишка, молокосос, с томительной завистью смекнул: помани ее мужик бурым от махорки, кривым пальцем, полетит сломая голову хоть на край света; побегит сквозь болота, мари и буреломы, падая и вздымаясь, в любовной мольбе неистово ломая руки. Но мужик не манил в голубые дали, суровым поглядом из-под кустистых бровей вроде и осаживал девицу.

Уже за полночь с горем пополам Медведев угомонил отряд, и парни нехотя разбрелись по чернеющим балаганам. Но прежде чем улечься на пихтовый лапник, Пашка еще следил из балаганного лаза, как именинница мыла чашки возле костра, как забиралась в свою девичью светёлку — шалашик, крытый голубым парашютом.

Прятели еще болтали, беспокойно ворочаясь в пьянящей пихтовой духоте, — перед воспаленными глазами вальяжно похаживала Татьяна; потом Ванюшка сморился и на тонкой меже сна понял с щемящей тоской, что нынешней ночью дотла выгорело его отрочество, отваялось к небу сизо-голубым дымом утреннего костра, что впереди маящая, но тревожная и опасная юность; и парнишка тихонько, по-щелячьи заскулил, хмельно напевая:

*Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я...*

Так и уснул, бедолага, в слезах... Снилось волоокая жена, кормит грудью румяного крепьша, а тот, отлучаясь от сосца, смеется, сучит пухлыми ножонками... Среди ночи проснулся — на ночь глядя перепил чай, вот и прижала нужда, нет моченьки терпеть, — и хотя томила обессиливающая дрема, да и не хотелось из сухого травяного тепла вылезать в зябкую ночь, все же пришлось ползти из утробного балагана на росный мох и брусничник.

Сонной головой уперся в прохладную березу, задумался, глядя на парашютную светелку Татьяны, вообразил деву, разметающуюся поверх спальника, и опустошающе горькие, томительно порочные желания закружились в распаленном, беспутном воображении; замороженный, словно лунатик, окутанный сонной блажью, пошел было к светелке, но тут же очнулся, со стыдом и страхом припомнил лунную горницу, девье лицо, бледное во сне, суровые очи Спаса и услышал матерински-ласковое: “Иди, Ваня, спи...”

Забрался в шалаш, где Пашка загаенно посапывал возле гитары, пал лицом в травяную подушку доглядывать желанный сон... И вдруг снова проснулся: возле шалаша — треск сучьев, словно выстрелы, и голоса, резкие в ночи, отрывистые, похожие на излюбленный лай. Но не столь восторженный тревожный гомон на таборе, сколь исчезновение Пашки. Смутно догадываясь, куда исчез ухарь, парнишка выбрался из балагана, подошел к пыхающему в небо искрами, разжигленному костру, где, настороженно озираясь по сторонам, уже гуртился весь пожарный отряд. Татьяна, видимо, уже в который раз, торопливо, вздохнув пересказывала, как медведь, задрал парашют, влез в балаган, и будто увидела она жуткую, смрадно пахнущую морду, и так завизжала, что медведь с перепугу убежал... И тут остроглазый паренек приметил, как от угрюмо чернеющего среди распадка, сухостойного листовня качнулась тень.

— Медведь! — утробно прошептал парень.

И можно было в медведя поверить, — хозяйнушко уже гостил на таборе, когда пожарники, прихватив топоры и лопаты, залив воду в резиновые заплечные сидорки, увалили в хребет гасить мох. Медведь своротил продуктовую палатку, перемял, перевернул харчи, сожрал печенье и вылакал полдюжины банок сгущенного молока.

Медведев, который уже тискал ложе карабина, тут же прилёг возле трухлявой валежины и стал целиться в медведя. Кто-то пошутил: “Счас Медведев завалит медведя...” И завалил бы, и случилось бы страшное, если бы Ванюшка тут же громко не оповестил, что ночью куда-то пропал мой дружок.

Над мшаниками и валежинами повисла недобрая тишина.

— А-а-а, так вот какой медведь ночью шарился в Татьянинном балагане... — смекнул Медведев, потом затейливо матюгнулся. — А если бы выстрелил в сукина сына?! Ежели еще случится эта ваша... медвежья любовь, — выпру. Ишь закобелили, молоко на губах не обсохло... И ты, подруга, — Медведев покосился на испуганную Татьяну, — хвостом не крути, воду не мутит. А то и до греха рукой подать.

Парни, весело бурча, пошли доглядывать предрассветные сладкие сны.

Едва рассинелся край неба над восточным хребтом, приятели, наскоро покидав в поняги свое некорыстное шуметье, прихватив гитару, тихонько

улизнули с табора, подальше от греха и смеха — благо, что ведали тропу из медвежьего укрома в село. Они брели встречу багрово восходящему солнцу, потом сломя головы бежали в светлую и певучую, хмельную и грешную юность, летели, словно глухари на зоревый ток, чтобы однажды очнуться в отчаянном изнеможении и покаянно взглянуть в линиятые осенние небеса, куда вслед курлыкающим журавлям укрылила беспутная юность.

А будущей весной Татьяна вновь прилетела тушить лесные пожары, но уже не девой, а раздобревшей мужней женой, нет-нет да и принародно ластясь к смущенному Медведеву, но Иван с Павлом уже нетерпеливо ерзали на фанерных чемоданах и, вгрызаясь в затрепанные, безбожно изрисованные школьные учебники, зубрили: Иван, лежа на коровьей стайке, крытой листовничным корьем, — Энгельса “Происхождение семьи, частной собственности и государства”, Павел про пифагоровы штаны, кои во все стороны равны; а чтобы не сдуреть от историй и теорий, воображали голубые города, белые пароходы на зеленоватой воде, синие сумерки с томными свечами и девушек с туманными очами. Приятели были юны и глупы, словно телята, впервые отпущенные на вольный вешний выпас, и не ведали, сколь горечи и грешной пустоты поджидает их за калиткой деревенского подворья.

Вскоре Павел укатил в военное училище, а следом тронулся и его уличный дружок, нацелившись в университет, на исторический. В форменных брюках-клевш, что всучил ему брат, отслуживший на флоте, в старомодном черном пиджаке с отцовского плеча, набив чемодан копчеными окунами, упрятав жалкие рублишки в карман, пришитый к трусам, брел Иван по знойной улице, боясь обернуться на родную избу, маятно чуя спиной, что матушка смотрит влед сквозь слезную наволочь. Когда пыльный, лязгающий и чихающий автобусишко, в который Иван чудом втиснулся, заполз на вершину Дархитуйского хребта, на миг отпахнулось степное село, обнявшее синее озеро, и нестерпимая печаль защемила Иваново сердце, и глаза ослепли от слез.

* * *

Вагон битком набили таежные шатуны — грибники, ягодники и орешники, загородившие проход понягами и горбовиками, на которых иные разложили немудрящий харч и, крикливо выпивая, зажевывали сивушную горечь. Сойдут на глухом полустанке, до ближних кустов доползут, и ладно, ежели костерок запалят, закуску сгношат, а то хлебнут сивухи, занюхают черствой коркой, да и повалятся в траву, а утром похмелятся на другой бок и ...таежники, едренов корень... вернуться с пустыми горбовиками и чумной головой. Может, и прикупят черники, брусники у промысловых бичей, если до нитки не пропыются.

Наголо стриженный, но с русой щеткой волос у лба, куражливый малый, завлекая девчусек в песенные сети, маял гитару в кургузах, досиня исколотых пальцах, молотил по струнам и, сверкая золоченной фиксой, поволчьи завывая, хрипел:

*Остановите музыку-у-у, остановите музыку-у-у!..
С другим танцует девушка моя-а-а!..*

Павел попросил у фиксатого гитару, побренчал, настроил, и вдруг зазвенели струны слезливо и надрывно; тридцать лет слетело с его посеченных инеем, обредевших волос, и повеяло в замерший вагон хмельным духом скошенной травы, горечью придорожной полыни, бродячей печали и запоздалого раскаянья:

*Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал.
Что любил — потерял, что нашел — не сберег,
Был я смел и удачлив, а счастья не знал...*

Подле фиксатого малого посиживала тихая, невзрачная девчушка — по-хоже, его зазноба, — и не сводила восторженных глаз с песельника, отчего дружок ее угрюмо косился на Павла, зловеще играя желваками.

*Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать,
Улететь к ненаглядной певунье своей...*

Павел игриво мигнул девчушке, а фиксатый малый нервно вскочил и ринулся в тамбур. Иван покосился на приятеля: “Эх, наскребет кот на свой хребет, да и мне, дураку, перепадет. Этот фраерок не успокоится...” И верно, едва друзья уселись на свою лавку, как паренек ...легок на помине... явился не запыхавшись, а с ними еще два братка. Фиксатый присел перед Павлом на корточки ...эдак зеки часами сидят, как вороны на заплоте... и, топыря пальцы, попер буром:

— Ты чо, мужик, крутой? Может, выйдем в тамбур, побазарим?

Павел вдруг засмеялся:

— Ну, жизнь, а! Никакого покоя. Какого лешего я пойду с тобой базарить?! Возле тебя вон еще два орла стоят. А с тремя нам не совладать.

Тут Иван, изрядно оробевший, попытался утихомирить фиксатого малого и его дружков:

— Парни, может, налить по стаканчику, и выпьем за мир во всем мире.

— Да мы и сами нальем, козел. Гони бутылку.

— А вот это ты зря, сынок, — Павел сумрачно и устало заглянул малому в зеленоватые рысьи глаза, и тот не выдержал, отвел взгляд. — Ты еще под стол пешком ходил, когда у меня такие, как ты, салаги, песок в окопах жрали...

Фиксатого отодвинул его дружок, невысокий, наголо бритый и крепко сбитый, и, так же по-зэковски присев перед Павлом на корточки, положил руку на его колено.

— Много базаришь, мужичок. Гони бабки, и пошел-ка ты... — бритый матюгнулся.

— Я бы мог пристрелить тебя... твоего дружка... — Павел откинул полу зеленой таежной робы, где с широкого офицерского ремня свисала потертая рыжая кобура. — Мог бы, мне терять нечего, я пожил. Мог бы, но не буду, а вот задницу отстрелить могу...

Бритый, не сводя глаз с кобуры, побледнел, нерешительно поднялся, и третий, который все время оглядывался, вертел головой, — вроде стоял на стреме — велел дружкам:

— Ладно, пацаны, сваливаем. А этого... мы еще достанем. Далеко не уйдет.

Когда братва отчалила, за ними убежала и девчушка, которой подмигивал Павел. Когда опасность миновала, Иван выдохнул скопленное нервное напряжение, кое-как успокоился и рассудил:

— Да-а, хошь, не хошь, а поверишь, что войны вспыхивали из-за бабья. Какого лысого ты, Паша, подмигивал девчушке?! Видел же, что рядом ее дружок.

— Да я, братка, без задней мысли, по-отечески, можно сказать...

Таежная электричка петляла, кружила в буреломных брусничных и черничных хребтах, падала в голубичные распадки, ныряла в сырые студеные тоннели. Зарницами играл в вагоне яркий закатный свет, золотились в зоревом сиянии рослые сосняки, кряжистые кедрачи, нежные березняки и осинники, заслоняли зарю хребтовые отроги и каменистые гольцы, а в электричке любовно пели, отчаянно плакали в душе, целовались, обнимались, ворочали грибные и ягодные корзины, поняги с брезентовыми кулями. Павел с Иваном на разные лады обсудили фиксатого малого с синими наколками и его дружков, после чего выжили за нынешнее поколение, чтоб ему не сгинуть во зле, да вскоре и забыли свару; спасительная память опять укрепила остаревших приятелей в лесостепное, озерное село, где на утренней заре истаяло отрочество и мятежным заревом полыхнула юность; и вдруг из миражного зноя тайги, из пьянящего смолистого духа, из стылых синеватых сумерек ожила та, что так растревожила отроческие души...

Они выпали из электрички в притаенную сумеречную тайгу, брели заболоченным узким распадком, обходя по кочкам чернеющие водой бочажины; продирались сквозь диковинно рослый, выше пояса, голубичник с опаленной морозами, сиреневой листвой, где чернели редкие крупные ягоды. Отошла голубица... Когда уперлись в гремящую горную речку, за которой дыбился кедровый хребет, уже отпылал ярый закат, суля дневной жар, и загустела пугающая темь; но мужики сноровисто затаборились, развели уютный костерик, на пихтовый таган приладили закопченный, мятый котелок и, устроившись на валежине, с пьянящей слезливой печалью смотрели, как огненные крали, извиваясь и всплескивая дланями, вершили причудливый, завораживающий взор, чарующий душу пляс. Мать суеверно внушала: не гляди долго в огонь, заморочишься...

Хлебнув спирта из алюминиевых кружек, закусив тушенкой, разогретой прямо в банках, вспомнили, как школярами тулились к такому же ночному костру и под таежные песни парашютистов-пожарников глазели на девушку Таню; повздыхали, и, вздохматив сивые чубы, спели о бродящем духе, что все реже, реже расшевеливает пламень уст. Слезливо и тоскливо оглядев неладную заплечную житуху, разоткровенничались — пьяная душа исповеди жаждет, и Павел вдруг поведал то, что мужики обычно таят в сокровенном потае своей души, и упаси Бог даже во хмелю развязать язык. Ведал он вроде и не про свою житуху, а про бедовую судьбу друга закадычного, капитана горемычного по фамилии Меринов, с коим, случалось, хлебал кулеши из одного котелка, спал под одной плащ-палаткой, а уж столь наливочки да сладкой водочки вылакал, супротивнику не пожелаешь. Вспоминал приятель горькую судьбинушку, соля и перча армейскими матюгами, отчего Иван доспел: однако, ты, парень, свое семейное бельишко ворошишь.

Словом, несчастный капитан нет-нет да и нежился в чужих перинах, жена терпела-терпела, да в отместку и сама загуляла; при двух чадах схлестнулась с молоденьким пареньком — учителем истории, который был классным руководителем у старшей дочери, и ей, матерой женке, чуть ли не в сыны годился. У капитана служба не сахар, то учения, то командировки, вот бабе и воля, а не верь ветру в поле, а жене в воле. Похаживала родительница на классные собрания да и присушила учителя — свихнулся парень, присох, прилип, словно банный лист, поскольку с ней, чаровницей бывалой, из юноши в мужика обратился, да и она в нем души не чаяла. Капитан Меринов...полевой офицер, не хвост собачий... рога вперед, кинулся к учителю потолковать с глазу на глаз; побеседовал душевно, засветил парню промеж глаз, а тому, что в лоб, что по лбу, одно поет: люблю. Ну, что делать, любовь — не картошка, не выбросишь в окошко, не из нагана же стрелять историка. Всполошились и родители паренька; уж и стыдили, и молили: дескать, ты, сына, подумай своей башкой, у ней же двое ребят и мужик живой, найди себе ровню — парень ты видкий, с дипломом, свистни, и невесты налетят, что мухи на мед, одна другой краше, сколь их по тебе в институте сохло; что ж ты на старую вешалку кинулся, ладно бы, краса, а то ни кожи, ни рожи, прекраса — кобыла савраса. И бесстыжую срамили: ты пошто, эдакая блудня, при живом-то мужике да при детишках, парню-то жизнь рушишь, а деве хоть наплой в глаза, все Божья роса: люблю, дескать.

Выболело сердце родительское, уж и так и эдак к парню приступали, все без проку; отправили к дядьке на Кольму, где тот пристроил несчастного в школу, а и месяца не прошло, затосковал парень люто и молит дядьку со слезами: “Отправляй назад, а то пешком уйду. Не могу без нее...” Присушила, ведьма... Мужнин грех на крыльце отрясается, а жена в избу несет, вот заугольника и принесла в подоле, после чего учительские родичи смирились, а капитан Меринов рукой махнул — не убивать же.

Как вернулся учитель, так и сошлись, поселились в квартире, которая досталась парню от родителей, к двум дочкам прибавился парнишка. Пока любовничали, все ладом шло, а как сошлись, семьей зажили, как пошли пеленки, распашонки, нуждишка прижала, любовь-то и пошла на убыль. А че-

рез год-другой и вовсе зачахла в пеленочном быту, словно и не цвела дерзко, буйная. Нашла коса на камень, помаялись да и разбежались, а капитан Меринов ...вернее, Павел Семкин... принял блудную жену, да еще и с доверием, учительским сынком, недавно отнятым от титьки. Можно понять небожного: закрой чужой грех — Бог два простит, но Павла...

Парнишонку усыновил — не виноват мальч, что мамка его в подоле принесла, от алиментов напрочь отказался, видется сыну с бывшим папашей запретил — незачем парнишку тревожить, слава Богу, не успел и запомнить его. Сошелся Павел с лихой женщиной ...не башмак — с ноги не сбросишь... но семейная жизнь, охромевшая на левую бабью ногу, брела уже безрадостно, ни шатко, ни валко, вроде и вместе тесно, и порознь худо; ревность томила мужика и не отпустила из скребущих душу когтей и поныне, когда ребятишки выросли, разбрелись по белу свету. А учитель из военного городка уководил, обвенчался с ровней, да и потихоньку стал забывать чаровницу, но по сыну тосковал, пока тоску не заслонили свои чада, урожденные в законе и венце.

— Вот так, братуха, они и жили: спали врозь, а дети были, — Павел с горьким вздохом завершил историю капитана Меринова — поведал, бедолажный, свою лихую судьбинушку.

— Да-а, нынче, Паша, сплошь и рядом семейная жизнь — одна видимость. Как старики говаривали: сбились с праведной пути, и не знам, куды идти. Лучше уж махнуть на все рукой, хрен с ей, с такой житухой-завирухой. Завей горе веревочкой и живи. Вот случай... Бредет мужик по селу, унылый, едва ноги волочит, а навстречу — поп сельский. Глянул поп на мужика и спрашивает: “Что стряслось, сыне? На тебе же лица нету — краше в гроб кладут...” — “Горе у меня, батюшка, вернее, два горя: баба гуляет, а я в постель мочусь...” — “Да-а, беда-а... — согласился поп. — А как твоей беде подсобить, ума не приложу. Был бы ты верующий, так помолился бы у святых Петра да Февронии о честном браке, у Пантелеймона-целителя о здравии, а коль без Бога и царя в голове, так не вем, что и присоветовать...” Бредет Федя дальше, встреч ему старуха-ворожейка. “Попей-ка, — говорит, — снадобья от тоски...” Ну, мужик и начал пить старухино зелье... Через месяц опять с попом встретились: мужик идет, хохочет. Поп и спрашивает: “Ну, что, Федя, жизнь наладилась?” — “Наладилась, батюшка”. — “Баба не гуляет?” — “Гуляет, батюшка... Дак они же все блудни, чо с их возьмешь...” — “А в постель не мочишься?” — “Мочу-усь, батюшка. Пуще прежнего. А ничо страшного, матрас раскину на заплот, подсушу...”

— Короче, идиотом стал... А капитан Меринов водочкой отпился, едва не спился... Чуть из армии не турнули. Очнулся, за ум взялся, с пьянкой завязал, а тут и старость не за горами... Браки, Ваня, бывают по расчету и по залету, когда у гулящей девы брюхо нос подопрет, а у Меринова — по любви. Но любовь была, да сплыла... — Павел закручинился, потом потрянул головой и вдруг запел: — Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?.. А я, Ваня, когда мы с парашютистами пожар тушили, пацанами еще, я ведь по уши влюбился в ту парашютистку. Помнишь Таню?.. По сей день не могу забыть...

— Какая, Паша, любовь?! Какая любовь?! Собачья сбеглишь, похоть. Любовь — это... Бог...

— Бог ли, не Бог ли, я, Ваня, не боговерующий, но любовь и без Бога любовь... Вот ты, Ваня, говорил, семейная жизнь нынче сплошь и рядом наперекосяк, а почему? Потому что без любви?..

— Любовь без Бога, говоришь?.. Вот от такой любви собачьей и все бракованные браки, и вся семейная жизнь кобыле под хвост. Как ты сказал-то, женятся по расчету да по залету. Из похоти еще... Крут ракидова куста обвенчались, а завтра разбежались. Или уж ребятишек ради живут, друг другу кровушку пьют. А раньше, Паша, в церкви венчались, да-а. Божий венец принимали, значит, с Божьего дозволения и благословения. И оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Что Бог сочетал, того человек не разлучает. Почему и жена — богоданная, муж — богоданный, они друг другу — дар Божий. Муж для жены был и возлюблен-

ный брат во Христе, и отец — за мужика завалюсь, никого не боюсь, — а уж потом... потом, Паша, мужик для утехи и потехи. И жена для мужа: и сестра во Христе, и мать, а потом уж утеха. Да и то лишь для продолжения рода... Вот и жили по-божески, по-русски. Не в загсах, на небесах, Паша, венчались... А если у нас сплошь и рядом невенчанные браки, значит, Паша, в блуде живем, и детей в блуде зачинаем. Что уж тут плакать и рыдать, рубахи до пуза рвать... Какая там любовь, Паша?! Любовь у русских — любовь к ближнему и Богу. А жену жалели, и жена жалела мужика. Жалью жили... Недаром же песня такая была, девичье страдание: “Закатилось красно солнышко, не будет больше греть. Далеко милый уехал, меня некому жалеть...”

— Ну, Ваня-а, язык у ты подвешен. Молотишь... Студентам мозги пудришь... Ишь как, соловей, распелся про любовь да жизнь семейную. Но поешь-то, Ваня, одно, а творишь-то другое.

Иван вздохнул, обреченно и отчаянно покачал головой:

— Каюсь, сапожник без сапог. Как сказано о фарисеях: поступайте по словам их, а не по делам их. Не все, Паша, вмещают Слово Божие, но кому дано...

— Ясно, что дело темно... Вот почему я сомневаюсь в вашем брате, богомольце, вчерашнем комсомольце. Одной лапой крест кладут, другой под себя гребут. И юбку не пропустят... Раньше в партию лезли, а теперь в церковь гужом прут — выгодно. Батюшки на таких джипах рассекают — ну прямо крутизна! А на какие шиши живут?! Дураки навроде тебя несут... Видал я их в гробу, таких батюшек.

— Не все батюшки такие, есть и хорошие.

— А хорошие — в хороших гробах.

— Обозлился ты, Паша, в армии. Вот тебе-то к батюшке и надо, чтоб на душе полегчало. Баян, говорят, тело правит, а церковь — душу. А таких батюшек, которых ты матюгаешь, их, может, раз-два и обчелся. Да батюшки могут быть какие угодно, но Бог-то не умалится от этого... И женок-то мы зря костерили — они, поди, ближе к Богу, чем мы, мужики, сколь они настрадались от нас, кобелишек. Одно счастье — дождь и ненастье...

— Да, Ваня, одна холера, что мужики, что бабы. Коль уж сбились с пути...

Павел, кряхтя и потирая поясницу, поднялся, разживил костерок, подкинув багрового листовничного смоля, плотнее сдвинув кедровые сухостойны, уложенные в кострище веером, — таежной надьей; трескучие искры посыпались в ночные небеса, потом заиграло пламя, обнимая желтоватую древесную плоть.

Привалившись поближе к огню, Павел задремал. Из черных кедровых вершин взошла багровая луна, и привиделось Ивану: из темно-синего неба, усеянного звездным житом, родился лик Царя Небесного; милостиво и горько взирал Спас на стареющего служаку, а тот, сомлев в сухом жару от пылающих сухостойных листовней, так бурливо, с присвистом и горловым клекотом захрапел, мертвый пробудится; при этом еще и бормотал спросонья то армейское: “Не стой у командира спереди — саданет, у коня сзади — лягнет”, а то клялся в любви до гроба... а кому, Иван не разобрал. Прихватив котелок, поволочился к реке, переваливаясь через сырые замшелые валежины, заплетаясь в чушачьем багульнике, падая и плача о пропащей судьбе.

С горечью глядел Царь Небесный на грешного мужика, но вроде еще не начертав смоляной крест на его душе, ибо праздник в небесах, когда грешник плачет. И вдруг... рече Спас Милостивый с белесых лунных небес: “Доколе гнить будешь во гноилище греха, в узилище порока? Доколе будешь беса тешить?..” Упав на колени перед рекой, омыв лицо в студеных струях, истово перекарстил на призрачно-голубые в ночи, снежные гольцы, с востока подпирающие небо, взмолился Царю Небесному...

Горная река, слетая с отрогов Саянского хребта, гудела в омутах, серебристо и синевато сверкала на перекатах и, говорливая, страстно ликовала, неутешно плакала в призрачно-белой ночи, утробно бурчала, старчески ворчала, и вроде нет-нет да и явственно в говоре и плаче реки слышались русальи голоса.